

ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ

ДУХОВНОЕ
ГОСПОДСТВО (РИМ В
XIX ВЕКЕ)

Джузеппе Гарибальди
Духовное господство
(Рим в XIX веке)

«Public Domain»

1870

Гарибальди Д.

Духовное господство (Рим в XIX веке) / Д. Гарибальди — «Public Domain», 1870

«Она была прелестна, жемчужина Транстевории! косы смоляные, тяжелые – и что за очи! Их блеск палил, как жгучая молния... На шестнадцатом году, её стан развился роскошнее стана античных матрон. О, Рафаэль в Клелии нашел бы всю прелесть девственного идеала, вместе с отважною душой той другой Клелии, её тётки, что утопилась в Тибре, спасаясь от воинов Порценни...»

Содержание

Часть первая[2]	5
I. Клелия	5
II. Атилио	8
III. Заговор	9
IV. 390	11
V. Детоубийство	13
VI. Арест	15
VII. Завещание	17
VIII. Нищий	19
IX. Освобождение	21
X. Сирота	23
XI. Убежище	25
XII. Прощение	27
XIII. Прекрасная чужестранка	29
XIV. Сиккио	31
XV. Палаццо Корсини	33
XVI. Совет	37
XVII. Правосудие	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Джузеппе Гарибальди

Духовное господство (Рим в XIX веке)

(Перевод с итальянской рукописи)¹

Часть первая²

І. Клелия

Она была прелестна, жемчужина Транстеверии! косы смоляные, тяжелые – и что за очи! Их блеск палил, как жгучая молния... На шестнадцатом году, её стан развился роскошнее стана античных матрон. О, Рафаэль в Клелии нашел бы всю прелесть девственного идеала, вместе с отважною душой той другой Клелии³, её тёзки, что утопилась в Тибре, спасаясь от воинов Порценни.

«О, да! она была действительно прекрасна, Клелия... И кто мог глядеть на нее, не согреть душу теплотой светлого пламени, горевшего в её глазах?

Но разве римские эминенции, эти бесконтрольные хозяева „святого города“, эти изнеженные угодники чрева, эти изможденные сластолюбцы похотей не знали, что такое сокровище хоронится в стенах Рима? Нет, они знали; и одна из них уже давно зарилась на лакомый кусочек, происходящий от древних Квиритов»⁴.

– Ступай, Джиани, молвил однажды кардинал Прокопио, фактотум и фаворит его святейшества: – сходи и добудь мне во что бы ни стало эту девочку... Я умираю по Клелии... Она одна способна рассеять мой сплин и наполнить пустоту существования, которое волочу я за хвостом этого старого греховодника... И Джиани, припадая чуть не до полу волчьей своей мордочкой, и с лаконическим: «слушаю-с, эччеленца», пустился без дальних околичностей справлять гнусное поручение.

Но над Клелией не дремал Аттилио, Аттилио, спутник её детства, двадцатилетний Аттилио, здоровенный художник, смельчак, коновод римской молодежи, не оженоподобленной, проматывающейся и низкопоклонствующей молодежи, а той, в среде которой забился первый нерв того легиона, что затмил македонские фаланги.

² В итальянском тексте, вышедшем после напечатания начала нашего перевода, находится следующее предисловие Гарибальди: Во-первых: напомнить Италии обо всех тех храбрых, которые на поле битвы пожертвовали за нее жизнью, так-как если многие и, быть может, славнейшие из них и известны, то еще большее число их осталось в совершенной неизвестности. Это вменил я себе в священную обязанность. Во-вторых: побеседовать с итальянским юношеством о совершенных нами делах и о священной обязанности довершить остальное. Для этого я хотел бы, чтобы они увидали в свете истины, все низости и измены католического духовенства. В-третьих, наконец: чтобы добыть себе этим трудом кое-какие средства к жизни. Вот побудительные причины, заставившие меня сделаться литератором, в то время досуга, которое предоставили мне обстоятельства, и в продолжение которого я предпочел лучше временно отстраниться от деятельности, чем мешать делу – неуместною горячностью. Я буду говорить в моем сочинении почти исключительно об умерших; о живых же, возможно меньше, придерживаясь пословицы, что: судить о людях вполне, можно только после их смерти. Утомленный действительностью жизни, я признал за лучшее избрать форму исторического романа. Я полагаю, что буду верным истолкователем всего относящегося до истории, по крайней-мере на сколько это окажется возможным; известно, как трудно передавать с точностию особенно описания военных событий. Что же касается до романической стороны моего сочинения, то, если бы она не была в связи с историей, в которой считаю я себя за опытного судью, а равно, если бы я не считал заслугою разоблачение пороков и низостей папатов, то не решился бы утомлять публику моим романом в тот век, в котором пишут романы Манцони, Гвераци и Виктор Джузеппе Гарибальди.

³ Римская Клелия времен Порценны.

⁴ Транстеверяне почитают себя происходящими от кровной расы древних римлян. *Прим. авт.*

Аттилио, прозванный товарищами студии «Римским Антиномом», любил Клелию, любил той любовью, для которой риск жизнью – игра, опасность смерти – счастье.

В улице, ведущей вверх от Лунгары к Яникульской Площади, неподалеку от фонтана Монторио, находилось жилище Клелии. Её семейные были ваятелями мрамора, – ремесло, допускающее в Риме относительную независимость жизни, если, впрочем, независимость может водиться там, где хозяйничают патеры...

Отец Клелии, уже близкий к пятому десятку, был мужчина от природы крепкого закала, который еще более окреп вследствие трудовой и умеренной жизни; мать была тоже здоровой конструкции, но деликатной. Она имела ангельское сердце и на нее радовались не только в семействе, но и во всем соседстве.

Говорили, что Клелия совмещала ангельские качества матери с развитой и сильной натурой отца; знали еще, что в этом честном семействе все друг друга искренно любили...

И вот вокруг этого-то довольства, вечером, 8-го февраля 1866 г., увивался низкий фактотум высокого прелата.

Джиани уже раз являлся-было к порогу честного питомца Фидия, но вид загорелых и мускулистых рук художника, засученных до локтей, так напугал его, что он счел за лучшее вернуться вспять.

Однако ж, когда художник обернулся и явил на мужественном лице своем выражение некоторого добродушия, то негодяй приосанился и вступил в студию.

– Buona sera, signor Manlio! залепетал недобропожаловавший посланец фальцетом.

– Buona sera, отозвался художник, и, не отрывая глаз от резца, обратил мало внимания на личность, принадлежащую, как он догадывался, к той многочисленной орде подкупных холопов, которую патеры заменили в Риме благородную расу Квиритов.

– Buona sera, повторил Джиани нерешительно-умиленно, и завидя, что ваятель поднял, наконец, на него глаза, продолжал: – их эминенция кардинал Прокопио прислал меня сказать вашей синьории, что им хотелось бы иметь две статуэтки святителей, для наддверного украшения их молельни...

– А какой величины желает он статуэтки? спросил Манлио.

– Я полагаю, залепетал снова тот: – вашей синьории лучше бы самим пожаловать в палаццо, чтоб уговориться с их эминенцией...

Складка губ честного артиста служила ясным указанием, что предложение это было ему не по сердцу; но можно ли жить в Риме вне зависимости от патеров? Между иезуитскими ухищрениями тонзурованной братии, обретается и притворное покровительство искусству, и этим притворством она добилась того, что лучшие мастера Италии принуждены выбирать сюжетом для своих творений разные басни, развращая ими чувства масс.

Складка губ не значит еще отрицание; а в действительности, надлежало жить и содержать два создания – жену и дочь, за которых Манлио отдал бы стократно жизнь.

– Приду, отозвался он сухо и пораздумав с минуту, и Джиани, с низким поклоном, отретировался.

«Первый шаг сделан», шепнул про себя кардинальский сводчик: «теперь надо найти наблюдательный и укрывательный пункт для Ченчио...» А Койи Ченчио – надобно, чтобы читателю то было известно, – состоял в подчинении у Джиани и обрабатывал, в подобных предприятиях, «вторую часть» кардинальских поручений.

Джиани высматривал для своего помощника какую-нибудь меблированную каморку, непременно в виду студии Манлио, что было не весьма затруднительно. В этом углу столицы католичества, наплыв люда никогда не бывает значителен, потому что патеры, заботящиеся для себя о материальных благах, другим предоставляют заботу лишь о благе духовном... Наш век – несколько положителен: он рассчитывает чаще на проценты, нежели на радости рая – и

оттого Рим, за недостатком средств производства, средств сбыта, остается опустелым и тоще-населенным⁵.

Джиани нашел чего искал без затруднения, и найдя – побрёл восвояси, весело посвистывая и с совестью не только не отягченной, но успокоенной надеждой на «отпущение», в котором патеры никогда не отказывают за проделки, творимые в их честь.

⁵ В Риме значилось некогда два миллиона народонаселения, а теперь не осталось и 210 тысяч. *Прим. авт.*

II. Аттилио

Напротив студии Манлио находилась другая: та, где работал Аттилио. Из своего окна он мог видеть Клелию, – и должно быть не мудрено, что воспламенился горячею любовью к ней.

Клелия была краше самых красивых девушек Рима, но не надменна и не требовательна на «ухаживанья»; но когда глаз женщины останавливался хотя мельком на нашем Аттилио и замечал его наружность, то будь у неё за тройной кирасой спрятано сердце, оно начинало биться невольным увлечением.

Одного обмененного между ними взгляда было достаточно, чтоб на век решить судьбу обоих.

С тех пор Аттилио, имея свою святыню перед студией, где просиживал почти целые дни, частенько поглядывал на окно первого этажа, у которого, рядом с матерью, работала Клелия, и откуда электрический блеск её глаз встречался, словно по уговору, с огненными взглядами её избранника.

Аттилио, в тот же вечер, подметил подходы негодяя, отгадал в нем «ходока» по темным делам, и почуял «недоброе» для красавицы-ребенка, почуял оттого, что римскому народу давно известно, чего следует ожидать от «семидесяти-двух»⁶, испорченных и отупевших, богатых, влиятельных, зарящихся на красоту и невинность для того лишь, чтоб осквернить их.

Не успел Джиани пройти и ста шагов по направлению к Лунгаре, как наш дружище шагал уже по его следу, с видом полного равнодушия, как бы «от нечего делать» останавливаясь рассматривать диковины на эталажах магазинов и архитектурные достопримечательности зданий и монументов, которыми, на каждом шагу, украшена дивная метрополия мира.

И следил Аттилио – с тайным предчувствием, что следит за мерзавцем, за орудием мерзостных прихотей, промышленяющим, может статься, на пагубу его милой; следил за ним Аттилио, ощупывая рукоятку ножа, спрятанного за пазухой.

Такова сила предчувствия! один вид неизвестного человека, которого он встретил в первый раз и на одну минуту – человека обыкновенного, как все, пробудил в этой огненной душе неутомимую жажду крови, в которой окунулся бы он с наслаждением канибала...

И снова пощупал он свой нож – оружие запрещенное и порицаемое иностранцами, как будто штык или сабля, обогранные ими столько раз невинною кровью, благороднее ножа, погруженного в грудь убийцы, направленного в сердце предателя.

Аттилио видел, как Джиани входил в дом, где нанял комнату для Ченчио; видел, как он оттуда вышел и вошел во двор величественного палаццо Корсики, в котором обитал его патрон.

«Значит» – молвил про себя наш герой – «дон-Прокопио тут причина...» Дон-Прокопио, фаворит и главной дебошир из всей клики римских князей церкви. И Аттилио отошел погруженный в невеселое раздумье.

⁶ 72 кардинала – так зовутся римским народом. *Прим. авт.*

III. Заговор

Привилегия раба – заговоры; и немного таких итальянцев, которые во времена порабощения своей страны, ни разу не участвовали бы в заговоре. Деспотизм церковников самый невыносимый, возмутительный и гнусный; поэтому, понятно, что возмущения римлян всегда бывали вынуждены владычеством этих пройдох.

Ночь на 8-е февраля была в Риме кануном восстания, задуманного в Колизее: поэтому Аттилио, проследив Джиани, направился не домой, а в Campo Vaccino.

Была темная ночь и черные-черные тучи, нагоняемые порывистым ветром, смыкались над святым городом; римский христарадник ёжился под дырявым пальтишком, прижавшись под порталом аристократического палаццо либо под навесом церкви; зато патер, воспользовавшись услугами неразлучной «Перепетуйя»⁷, и отяжелев от желудочного переполнения, готовился отойти к усладительному отдохновению...

Там, в глубине античного форума, воздымается гигантская руина, мрачная, строгая, глясящая поколению рабов о сотнях сгинувших поколений, напоминающая римлянам, что их Рим, растленный временем, разрушается... – То Колизей.

Иностранцы обыкновенно посещают Колизей при лунном свете – но надо посмотреть на него в темную ненастную ночь, когда его освещает молния, когда его потрясают раскаты грома, и он стоит полный глухих, неуловимых отголосков!

Такова была та ночь, когда заговорщики, один по одному и разными улицами, пробирались к амфитеатру гладиаторских игр завернутые широкими плащами, которые издали, при внезапных заревах грозы, казались тогами.

При тусклом мерцании потайного фонаря, припасенного заговорщиками, видно было, как эти отважные защитники римской свободы карабкались по различным подъёмам к «раю» – так величали они место своих сборищ – и так скучивались в толпу, без иного приветствия, кроме молчаливого пожатия руки, ибо все они между собой были друзьями и приятелями.

Как только все разместились, зычный голос раздался по галерее: «Караульщики на местах ли?», и другой голос, с другого конца, ответил: «на местах...» Тогда, в стороне первого голоса, вдруг запылал факел, осветивший сотню молодых и симпатичных лиц от восемнадцати до тридцати летнего возраста и за ним, там-сям, начали засвечаться другие факелы, разом озарившие ночную тьму.

Римские патеры не ощущают недостатка в шпионах – лучшие шпионы суть сами же патеры; оттого некоторым может показаться странно, что сотенная толпа заговорщиков могла безнаказанно собраться в стенах этого города. Но не должно забывать, что Рим вообще пустыня, а на Campo-Vaccino, самом глухом пункте этого пустыря, имеется много развалин, нежилых домов и заросших площадок. Сверх того, Рим – город мерсенеров, наемщиков, холящих прежде всего свою собственную кожу, отправляющих службу больше для вида, чем для дела и неохотно рискующих жизнью на обшаривание отдаленных трущоб, несравненно более опасных, нежели центральные улицы Рима, а даже и в этих последних честный люд был не слишком-то спокоен.

В городе столь суеверном, как метрополия католицизма, не ощущается также недостатка и в легендах о привидениях, бродящих по ночам между развалинами, нет недостатка и в людях им верующих. Так, например, рассказывали, что в одну ненастную, как эта, ночь, два сбира, из более отважных, подойдя во время обхода к Колизею, и заметив какой-то необычный

⁷ Perpetua – название, заимствованное из романа Манцони «Premessi Sposi», под которым итальянцы разумеют прислужниц à tout faire, нанимаемых патерами-холостаками. *Прим. перев.*

свет, хотя и бросились для разведок; но приблизившись увидели, что-то такое страшное, что, объятые ужасом, побросали, один шляпу, другой саблю и пустились бежать.

Это «что-то» было не что иное, как наши молодцы, уведомленные своими караульщиками и подобранные потом шляпу и саблю беглецов – неожиданные трофеи, вызвавшие между ними взрыв хохота.

IV. 390

Первый голос, раздавшийся с галереи, был голос одного из наших знакомцев – голос Аттилио. Двадцатилетний Аттилио, за смелость, и отвагу, был избран товарищами единогласно в капитаны: таково обаяние мужества и добродетели – и скажем еще – красоты и крепости тела! И Аттилио заслуживал доверие товарищей: телесная красота его соединялась с подобием и сердцем льва.

Оглянув все собрание и уверившись, что все имели черные ленты на левой руке (знак борьбы против угнетения, знак не снимающийся до окончательного избавления Рима, – отличительный знак «трехсот»), Аттилио заговорил так:

«Братья! Уже минул срок, к которому пришла солдатчина, последняя поддержка папства, должна была, в силу конвенции, очистить нашу землю. Давно прошел срок этот... Теперь очередь за нами. Восемнадцать лет мы терпели двойное иго, равно ненавистное, иго чужеземцев и патеров, и в эти последние годы, готовые поднять знамя восстания, мы были постоянно удерживаемы тою сектой гермафродитов, которая зовется *умеренными*, и умеренность которой не что иное, как противодействие делу, делу добра. Это секта алчная и прожорливая – прожорливая, как патеры – готовая вечно пресмыкаться перед иностранцем, торгашествовать национальной честью, обогащаться на счет государственной казны и влечь нас к неминуемой гибели... Извне друзья наши готовы: они упрекают нас за бездействие; войско за нас; оружие, для раздачи народу, уже подвезено и припрятано в надежном месте; припасов у нас больше, чем нужно... Для чего же откладывать еще? какого еще нового случая ждать? Да будет же нашим криком: all'armi!»

«All'armi! all'armi!» было откликом трехсот голосов.

Жилище безмолвия, где, может статься, бродит еще по ночам дух исчезнувших героев, раздумывая о рабстве наций, огласилось криком, и эхо подхватило и разнесло его между вековыми стенами необъятной развалины.

Их было 300! Триста, как товарищей Леонида, как спутников древних Фабиев, и были они молоды, и не уступили бы своего назначения – назначения освободителей, назначения мучеников – за всю вселенную.

«Да благословит нас Бог, начал снова Аттилио: – да благословит нас на святое дело. Счастливы мы, которых судьба связана с возрождением античной столицы мира, после стольких веков рабства и поповских злодейств... Борьба, которую мы начинаем, – святая борьба, и не одна Италия, но целый мир будет признателен нам за избавление от владычества этой ползающей расы гадин – пены ада – проповедующей смирение, самоуничтожение и лицемерие. Знайте, что братство только там возможно, где не владычествует патер...»

Так текла пламенная речь Аттилио, когда неожиданный свет, словно бы тысячью волшебных огней озарил внезапно огромный остов Колизея, – и за мгновенным светом опять нахлынула темнота чернее прежней, и ужасный удар потряс до основания всю руину.

Не побледнели перед ним заговорщики, готовые встретить смерть, где бы она ни случилась; замолк удар – и каждый протянул руку, чтоб ощупать лезвие за пазухой: почти вслед за ним, послышался внизу отчаянный крик – и через минуту растерзанная женщина, вне себя, вбежала в кружок заговорщиков.

Сильвио первой узнал ее.

– Бедная Камилла! воскликнул молодой сигнальщик: – бедная душа! До какого положения довели ее эти изверги, для которых ад один должен бы служить пристанищем.

Вслед за молодой женщиной, подошли к кружку и некоторые из караульчиков, стоявших-снаружи, и рассказали, как эта женщина, благодаря блеску молнии, их заметила, как бросилась к галерее, и не было никакой возможности ее удержать.

«При виде женщины – доложили караульщики – мы полагали поступить согласно вашему желанию, не употребляя против неё оружия; иначе-же, не было силы не допустить ее».

Камилла между тем, успокоенная Сильвием, подняла машинально на него глаза; но, оглянув его, издала крик ужаса, упала ничком наземь и так скорбно зарыдала, что растрогались бы камни.

V. Детоубийство

В статистиках значится, что Рим есть город, где наиболее рождается незаконных детей. А явствует ли из статистик этих, сколько убивается там незаконнорожденных?...

В 1849 г., в дни правительства людей⁸, я присутствовал при осмотрах отдаленных углов тех ям, которые зовутся монастырями, и в каждом монастыре находил неизменно орудия пытки и костохранилище⁹ младенцев. Чем было это скрытое кладбище едва рожденных или нерожденных еще существ? Чувство отвращения возмущает душу, если она не душа прелата, перед подобным фактом.

Патер, в образе лжеца, взрослого в среде обманов и лицемерия, глумящегося над доверчивостью невежд, естественно склонен в пресыщении как чрева, так и плоти; а мог ли бы он ублажать свой ненасытный аппетит, если б не умел уничтожать следы своих растлений и насилий? Итак-то, рожденное, вытравленное, либо придушенное и схороненное существо, не поведает о разврате тех, кто посвятил себя на вечную беспорочность... Земля, реки, море – наверное скрывают миллионы жертв этих обманов и притворств...

Бедная Камилла! и твоего зачатия плод не избежал умерщвления, и он испустил вздох, свой первый и последний вздох, под пальцами «исполнителей» того же самого Дон-Прокопио, того же Джиани, которому в настоящее время поручено сманить и погубить жемчужину Транстеверии, прелестную Клелию!

Рожденная крестьянкой, несчастная Камилла имела, как Италия, пагубный дар красоты. Сильвио, часто охотясь в Понтийских болотах, имел привычку, по пути, заходить в дом старого Марчелло, отца Камиллы, расположенный невдалеке от Рима, и там влюбился в девушку. Любимый взаимно Камиллой, он просил согласия отца, получил его – и их помолвили. Это была славная парочка: красивый и здоровенный охотник с миловидной и хорошенькою крестьянкой, и оба заранее предвкушали душой счастье будущего соединения.

Но слишком хороша была собой Камилла и слишком невинна для этого испорченного города... Облавщики эминенции пронюхали голубку, а выслеженная и загнанная *в остров* – она не могла не пасть.

Однажды, на охоте, бедного Сильвио настигла лихорадка, столь обычная в этих болотах, и болезнь была причиною, что свадьбу отложили, а налёты ястребов на миловидную добычу участились.

Редко, но случалось Камилле носить фрукты на пьядцу Навона, и там некая торговка, подкупленная Джиани, расставила такие льстивые сети, что неосторожная поселянка попала-таки в западню.

Падение недолго оставалось тайной, беременность вскоре грозила открыть грех, а боязнь угроз отца и жениха заставила Камиллу сдаться на убеждение занять комнатку в палаццо Корсини, где кардинал в полном спокойствии мог продолжать свою связь с бедняжкой.

Родился мальчуган, и этот мальчуган был предназначен, подобно многим другим, к умерщвлению. Камилла сошла с ума, и по милости великодушного человеколюбия пурпурованного, который замышлял уже новую интрижку, была заключена в доме умалишенных.

Как-то ночью, однако, не то насилием, не то обманув бдительность страж, дурочке удалось выбраться на свежий воздух. Она ушла, и шла долго под ненастную ночь, шла наобум, пока, случайно подойдя к Колизею, не увидала света. Она подошла ближе, и в этот момент отблеск молнии осветил всю окрестность, а с тем вместе и караульчиков, наблюдающих у входа в амфитеатр.

⁸ Governodegli nomini – собственное выражение автора.

⁹ Ossario – имеющее назначение для хранения мощей. *Прим. перев.*

Инстинкт, какое-то предчувствие влекли ее к этим людям, которые, по крайней мере, не походили на патеров. Они хотели-было остановить ее; но Камилла нашла в эту ночь силы сверхчеловеческие: вырвалась, вбежала, и добравшись до галереи, упала изнеможенная между кружком трехсот.

Бедная Камилла! И Сильвио, узнавший ее, рассказал историю несчастной. «Пора, подхватил Аттилио, пора очистить наш город от этой непотребной грязи»... и луч сомнения за Клелию, может уже близкую к когтям ненасытного сластолюбца, сверкнул перед ним вместе с стальным лезвием ножа, выхваченного под первым впечатлением.

«Проклятие тому римлянину, который не чувствует унижения, который не хочет обогреть своего ножа кровью угнетателей, сделавших из Рима гнусную клоаку!»

– Проклятие! проклятие! гремело несколько минут под сводами развалин, и звуки скрепленного железа вторили звукам голосов. То был роковой концерт, дававшийся в честь непросеных хозяев Рима.

– Сильвио, продолжал Аттилио: – этой девушке, больше несчастной, чем виновной, нужно покровительствовать, и ты ей в том не откажешь. Ступай и проводи ее покуда, а в день боя, мы уверены, ты будешь на своем месте...

Сильвио был добр сердцем, и любил еще свою злосчастную Камиллу, а она, при виде любимого лица, успокоилась, словно расцвела, и улыбнулась. Сильвио закутал ее своим плащом, и тихо взяв за руку, увел из Колизея...

– На *пятнадцатое*, в термах Каракаллы, и да будет, что будет!..

– Готовы! готовы! вскрикнули все триста, и через несколько минут пустынная развалина снова погрузилась в свое безмолвное уединение.

VI. Арест

Ченчио, как то случается только между римской молодёжью, опустил, больше по вине своих родителей, чем по собственной, до пошлого положения, в котором мы его застали.

Отец его, бедный ремесленник, был женат на одной из тех девушек, которых в Риме так много, и которые являются на свете плодом сожительства высшего католического духовенства с римскими простолюдниками¹⁰. Женщине этой была известна тайна её происхождения и в своем тщеславии она только о том и думала, как бы вытащить свое детище из ничтожного положения отца.

Она весьма уповала на покровительство *знатного родителя*¹¹, и ей казалось, что он обязан озабочиваться участью её ребенка... В простоте души своей она и не догадывалась, что светские наслаждения поглощают всецело помыслы смиренных проповедников жизни вечной – и что раз пресытившись ими, они покидают или уничтожают затем все следы...

И Ченчио, назначаемый ослепленной матерью на «великия дела», не позаботился научиться отцовскому ремеслу – шатался, шатался и кончил – залезая выше своей среды – тем, что предался главному поставщику удовольствий для некоей эминенции.

Из горницы, где поместил его Джиани, он наблюдал за Манлио, и раз, вечером, когда художник заканчивал работу, – нагрнулся в его студию и жалким голосом стал вопить:

– Per Tamore di Dio, синьор, спрячьте меня – за мной следит полиция... хотят засадить в тюрьму. Уверю вас (продолжал обманщик), что нет иного за мной проступка, кроме того, что я – либерал... Увлёкшись в споре, я сказал откровенно, что падение республики было предательством. За это меня хотят засадить...

На этих словах Ченчио, для большей правдоподобности, притворился, что высматривает за мраморами, которыми была заставлена студия, лазейку, где бы спрятаться так, чтобы с улицы нельзя было его видеть.

«Времена нынче трудныя», думал про себя Манлио: «не следует доверяться и ближнему... но как выгнать из своего дома политического скомпрометированного? как решиться выдать его для увеличения числа несчастных, изнывающих в папских тюрьмах?» «Потом (раздумывал Манлио, разглядывая пришедшего), этот молодец – вида приличного: пусть дождетсЯ ночи, тогда отбоярится».

И честный малый сам отвел Ченчио в потайной угол своей студии, не подозревая, что приютил у себя предателя.

Не прошло и часа, как горсть сбиров, растянувшаяся по всей улице, остановилась перед студией – и вошла, показав хозяину дозволение произвести домовый обыск, по приказанию высшего начальства.

Не трудно найти убежище того, кто хочет быть найденным – к тому же начальник сбиров, заранее условившийся с Ченчио, издали видел, как тот вошел, и знал наверное, что ему не придется напрасно обыскивать.

Бедный Манлио! доверчивый – как вообще доверчив честный люд, он пытался уверить пройдоху, что ничего и никого нет в его студии такого, что могло бы показаться подозрительным полиции, пытался потом направить поиски в сторону противоположную той, где спрятался Ченчио. Но вор, для сокращения наскучившей ему комедии, дернул главного сыщика за-полу, когда тот шествовал мимо, – и сей, с победоносным видом, схватил своего же соучастника за-ворот:

¹⁰ Как может быть иначе, когда духовенство богато, а народонаселение бедно. *Прим. авт.*

¹¹ По подлиннику: *eminente genitore* – каламбур, непереводимый по-русски. *Прим. перев.*

– Гм! гм!.. Вы отдадите отчет правительству его святейшества в укывательстве врагов государства... сказал, нахохлившись, сбир и прибавил: – последуйте немедленно в тюрьму за преступником, которого хотели скрыть.

Манлио, мало привычный в соприкосновению с деятелями этого закона, стоял как пораженный громом – но при угрозах проныры, в нем заговорила кровь и взгляд бегло пробежал по предметам, наполнявшим студию. То были резцы, долота, глыбы – и он готов уже был схватить массивную ногу какого-то геркулеса и разбить ею череп сыщика, когда появилась – сходя с лестницы вместе с матерью – Клелия.

При виде обеих любимых созданий, гнев художника спал разом. Обе они, заметив с балкона приближение необычных гостей, слышав повелительные голоса сбира, испуганные и любопытные сошли в студию.

Пали уже вечерние сумерки – и так-как в общем плане ареста Манлио значилось, не отводить его в тюрьму днем, во избежание столкновения с трастеверянами, любившими и уважавшими нашего приятеля, – а по расчету сбира, не требовалось уже запаздывать дольше, то он, с ужимкой хитрой лисы, скомандовал:

– Идите за мной! и, как бы из сострадания, присовокупил: – успокойте ваших дам, дело кончится ничем; вам придется ответить только на некоторые пункты, и сегодня же вечером, я надеюсь, будете отпущены домой...

Напрасны были все мольбы женщин, и Манлио тотчас же был уведен незванными своими гостями.

VII. Завещание

Феноменальная алчность клерикального стремления к исключительному обладанию всеми материальными благами – дело настолько же известное, как и бескорыстное; их готовность уступить остальному человечеству – всему, что не-паписты – даровое пользование духовными благами будущей жизни, со всеми радостями рая, *colla gloria del paradiso*, включительно.

Остальным – невежество и нищета, ради *maggior gloria di Dio*; папистам – наслаждения и богатство, опять-таки ради *maggior gloria* того же *Dio*?!..

Теперь не то – но бывало, патеры, обманами и запугиваньями, накопляли себе несметные богатства; примером тому Сицилия, где половина острова принадлежала некогда патерам и фратам всяких сортов.

И было два главных источника их богатств: первый составлялся из приношений знати, полагавшей, уступкою части накраденного имущества церкви, узаконить за собой право обладания остальною и большею, не накликав за то на себя гнева божьего; второй составляли их проделки у изголовья умирающих, напутствуемых в жизнь вечную и запугиваемых страхами ада и пекла; вымогательства, подлоги, подмены «духовных» в ущерб законным наследникам, без сожаления обираемых *per maggior gloria di Dio*...

Шел декабрь 1849. Римская республика – провозглашенная единогласным в этом законных представителей народа – была уже погребена иностранными штыками. Патеры, захватившие снова прежнее могущество, увидели себя в необходимости снова пополнить «запасцы», пощипанные несколько еретиками-республиканцами, пополнить ради комфорта духовного и спасения душ.

Было за-девять – и непроглядная ночь царила уже над почти безлюдною площадью Ротонды... Знаете ли вы, что такое *Ротонда*, эта маленькая церковь, куда каждое утро несколько бабёнок сходятся подивиться на патерчёнка¹², упражняющегося *per maggior gloria di Dio*? Ротонда – это Пантеон древнего Рима! – постройка, насчитывающая уже две и больше тысячи лет, а с виду как будто только вчера воздвигнутая, так хорошо она сохранилась, так величественна её архитектура! Но патеры сделали из Ротонды то же, что из римского Форума древних владык мира – *Campo Vaccino*¹³...

И так, было за-девять темной декабрьской ночи, когда через площадь Ротонды прокрадось что-то черное-черное, встреча чего заставила бы вздрогнуть хоть кого, из храбрецов Калатафими.

Отвращение или страх, что именно возбуждалось появлением этой тени? – не умею сказать; но полагаю, и то и другое. Оба эти чувства, в этом случае, были вполне извинительны, так-как под черной сутаной, кравшейся в темноте, билось сатанинское сердце, взволнованное преступным замыслом такого пошиба, который в состоянии зародиться и воплотиться только в клерикальной душе.

Приблизясь к воротам дома Помпео, расположенного в глубине пиаццы, незнакомец, осторожно приподняв защелку, тихонько опустил ее и вперил пытливые глазки в густую темноту улицы, опасаясь, вероятно, чтоб не помешали ему совершить то подлое дело, которым готовился пополнить он ряд мрачных драм своего гнусного жития.

Но кому было мешать совершителю преступлений там, где хозяйничают наемщик и папист? где, из многочисленного населения, все, что еще представлялось порядочным, было заключено, сослано или доведено до нищеты?

¹² Frété – патер; pretuncolo – маленький патер.

¹³ «Коровье поле». Так иногда римляне называют заглохший и заросший травой форум. *Прим. перевод.*

Ворота аристократического дома открылись; привратник, узнавший «почтеннейшего» отца Игнацио, поклонился ему земным поклоном, чмокнул его в руку и осветил, провожая до первых ступеней лестницы больше для парада, чем для нужды, ибо лестница одного из богатейших домов Рима была ярко освещена большою люстрой.

– Где Флавия? осведомился пришедший у первого слуги, вышедшего ему на встречу, и Сиччио, как звали этого слугу, чистокровный римлянин, не особенно долголюбивавший отца Игнация, сухо проговорил: «подле умирающей», и тотчас же повернулся к нему спиной.

Игнацио, наизусть знакомый с расположением комнат, торопливыми шажками направился прямо в спальню, завершавшей амфиладу приемных покоев и роскошных зал, и, дойдя до неё, издал, пред затворенною дверью, какой-то почтительный, но неопределенный звук, в ответ на который в ту же минуту выглянуло из-за двери сморщенное лицо сестры милосердия, и обладательница его тотчас же подобострастно посторонилась и впустила патера, обменявшись с ним одним из тех взглядов, что он мог бы оледенить самое солнце.

– Сделано?... лукаво и торопливо спросил патер.

– Сделано, мигнула сестра, и они вместе подошли в постели умирающей.

Дон-Игнацио вытащил из-под полы какую-то склянку, налил из неё чего-то в стакан и, пособляемый сестрою, приподнял голову страдальцы, которая машинально раскрыла рот и выпила, доверчиво или уже бессознательно, весь прием.

Усмешка адского торжества осветила лица обоих негодяев, которые, отбросив на подушки голову бездыханной старухи, уселись рядом и повели спокойную беседу. Флавия передала патеру тотчас же какой-то лист; Игнацио торопливо взглянул на подпись, поднес ее пристально к глазам и очевидно довольный результатом своего осмотра, спрятал поспешно бумагу в карман несколько дрожавшею рукою. При этом он как-то неясно промычал: «хорошо! Вы будете вознаграждены... Sta bene!»

Этот лист был духовным завещанием синьоры Виргинии, матери Эмилио Помпео, убитого на стенах Рима свинцом наполеоновским. Жена Эмилио, сломленная горем, сгинула вслед за ним, оставив двухлетнего сына на попечении бабки. Виргиния любила своего Муцио, последнего отростка дома Помпео, любила страстно, и, конечно, не лишила бы его огромного родового наследия. Но, что делать? как многие женщины, она «почитала» патеров, и как многие женщины, не верила, что черная сутана прикрывает зачастую демонские инстинкты.

Дон-Игнацио, теми хитростями и пронырством, кои отличают его касту, через всевозможные ходы и подходы, добился-таки, чтобы в духовной старухи было вписано завещание в пользу «душ, томящихся в пекле».

Но если подобная запись и могла удовлетворить души пекла, то она далеко не удовлетворяла их ходатая, который зарился на все цельное достояние дома Помпео.

Когда занемогла старая донна Виргиния, дон-Игнацио отрекомендовал ей в сиделку Флавию и сам наблюдал за старухой, не допуская к ней никого из посторонних; а когда тело и память больной достаточно, по мнению его, ослабели – не встретил затруднения подменить старую духовную новой, которою наследие Помпео всецело отказывалось братству Сан-Франческо ди-Паоло, и где вместе с тем душеприкащиком и исполнителем последней воли умирающей назначался сам же он, дон-Игнацио.

Не встретилось ему недостатка и в *благородных* свидетелях и старая ханжа подписала полуживою рукою нищету и рабство злополучному младенцу, для обогащения ненасытных святош... А между тем обворованный Муцио тихо почивал в своей комнатке, еще разубранной материнскою рукою, в позолоченной своей колыбельке. Сирота-ребенок не знал, что на завтра ему придется проснуться нищим.

VIII. Нищий

Восемнадцать лет минуло с того рокового вечера, когда черный-черный, как оборотень, патер крался через пиашу Ротонды, для совершения безбожного дела, и мы возвращаемся снова на ту же площадь, где, прислоненный к одной из колонн Пантеона, стоял, завернутый в свой дырявый, плащ, некий нищий...

Не была на этот раз темная декабрьская ночь, были ненастные февральские сумерки.

Нижняя часть лица нищего была спрятана под закинутую на плечо полой плаща, но и того, что виделось, было достаточно, чтоб угадать одну из тех физиономий, которые, виденные раз, остаются в памяти за всю жизнь: римский нос разделял два голубые глаза, способные удивить льва, а плечи, хотя и покрытые лохмотьями, доказывали, что человека, имеющего их, не легко было бы оскорбить безнаказанно, и не один скульптор не отказался бы заставить его позировать для торса.¹⁴

Легкий удар по плечу пробудил нищего от созерцательной неподвижности. Он обернулся, и с ласковым видом молвил пришедшему:

– Вы здесь, брат.

И точно, по сходству, казался братом Муцио тот, кого он назвал этим именем. То был Аттилио, наш приятель, который к словам первого прибавил:

– Вооружен ты?

– Вооружен?!.. как-то презрительно переспросил нищий: – а зачем? Я вооружен гневом и местью за мое отнятое достояние, за похищенное мое наследство... Ты думаешь, я это позабыл? Нет, я также все это помню, как ты не забудешь свою Клелию, как не забыть мне моей... Эх! да и зачем любовь нищему, отверженцу общества?... Кто поверит, что в груди, покрытой тряпками, может так биться сердце, способное чувствовать?

– А однако ж, вставил Аттилио: – та прелестная форестьерка, я знаю наверное, что тебя любит, на сколько может любить женщина...

Муцио смолкнул и поник головою, и Аттилио, отгадывая поднявшуюся бурю в душе своего друга, дотронулся легонько до его руки и шепнул:

– Vieni!

И Муцио последовал за ним, не вымолвив ни слова.

А между тем уже спала ночь, накрывшая своим темным покровом вечный город; на смолкнувших улицах, прохожие поредели; тени дворцов и монументов смешались с тьмой, и только мерные и тяжелые шаги иностранных патрулей раздавались еще в тишине наступившей ночи.

Патеров в эти часы встречается немного, они спокойствие предпочитают риску: тепленькая спаленка для них предпочтительнее темной улицы: в ночное время римские улицы не безопасны, а патеры, как известно, в отношении самих себя, особенно животолюбивы.

– Покончим ли мы когда с этими птицами? спросил развеселившийся Муцио.

– О, да! воскликнул Аттилио: – покончим и скоро!

Разговаривая таким образом, друзья незаметно дошли до одного мрачного здания, очевидно тюрьмы. Они остановились у боковой двери, недалеко от главного входа. Вошли, миновали узкий корридор, поднялись по лесенке и очутились в комнате, предоставленной начальнику караула; все убранство её состояло из скамьи и нескольких стульев; на скамье несколько бутылок, несколько стаканов и мерцавшая лучерна. Там, усадив гостей, сержант начал первый:

¹⁴ Ремесло натурщика весьма почтенно в Риме, классической земле искусств.

– Выпьем по стаканчику орвието¹⁵, товарищи, что в холодную ночь полезнее благословений самого папы... И он подвинул пузатую флягу, оплетенную тростником.

– Так, значит, сюда свели они Манлио? осведомился Аттилио, едва пропустив первый глоток.

– Сюда, как я тебе и дал тотчас же знать, ответил Дентато, драгунский сержант: – а было то прошлой ночью, эдак близ одиннадцати, и засадили его в секретную, точно важного преступника... Слышно, что его хотят поскорее спихнуть в цитадель св. Духа, так-как эта тюрьма только переходная.

– И известно, по чьему приказанию был он арестован? спросил снова Аттилио.

– Еще бы! по приказанию фаворита и кардинала-министра. Так говорят, и еще прибавляют, вставил сержант: – что его эминенция простирает могущественную руку свою не столько за отцом, сколько за дочкой – жемчужиной Трастеверии...

Приливом бешенства задохнулся Аттилио при этих словах:

– А как мы теперь его высвободим? с заметным нетерпением спросил он.

– Высвободить!? но нас слишком мало, чтоб попытка удалась, ответил Дентато.

– Через час подойдет Сильвио с десятком наших; вместе мы осилим, надеюсь, всю здешнюю стаю сбиров, добавил Аттилио, с интонацией убежденного человека.

По прошествии нескольких минут молчания, Дентато заговорил снова:

– Так-как ты решился попытать счастья сегодня же ночью, то необходимо обождать по крайней мере до полночи: тогда смотрители и тюремщики, нагрузившись возлияниями, отойдут ко сну. Мой лейтенант отпросился поблизости к какой-то своей Лукреции и до рассвета, конечно, тоже не вернется...

Речь сержанта была прервана приходом драгуна, стерегшего у входа и доложившего о прибытии Сильвио со своими.

¹⁵ Вино, выделяющееся в окрестностях Орвието.

IX. Освобождение

Одну странную вещь заметил я в Риме – устойчивость и храбрость римского солдата – не наемного мерсенера, а тех, которые зовутся и *soldati di para*. Я видел их при защите Рима, и я им удивлялся и жалел, что служат они такому пошлому делу...

Патеры знают римского солдата, и знают, что отвага не легко повинуется пошлости, что в день восстания римский солдат будет вместе с народом, а отсюда необходимость наемщиков, отсюда выпрашивание иностранных вторжений всякий раз, едва лишь народ начинает терять терпение.

– Наши готовы, сказал, входя, Сильвио: – я спрятал их покуда между ног гранитных коней; по первому зову, они сбегутся сюда.

– Хорошо, молвил Аттилио, и, нетерпеливый, обратился к Дептато: – мой план таков: мы с Муцио пойдем за ключами к тюремщику, а ты помоги Сильвио и нашим захватить сбиров, караулящих тюремные входы.

– Дело! отозвался сержант: – Чинио (драгун, приведший Сильвио), ты проводишь их к тюремщику, но помни, что будешь иметь дело с самим чортом! Этот каналья Панкальдо не затруднится заковать в кандалы самого небесного Отца и не выпустит его из-под замка даже *per la gloria del paradiso*... Берегись за себя!

– Не беспокойся, заметил Аттилио, направляясь с Муцио вслед за Чинио.

Предприятие подобного рода не представляло в Риме тех затруднений, которые встретились бы в ином государстве, где правительство пользуется большим уважением, и чиновники его заражены меньшею подкупностью; но там, где солдат не одушевлен любовью в отчизне, национальной славой, честью своего знамени, и знает, что служит правительству, порицаемому и проклинаемому всеми, – там, говорю, все возможно; и день, когда чужестранец уберется из Рима взаправду, будет днем исчезновения правительства скуфеек перед общим презрением – римских солдат и римского народа.

Деотато подвел бригаду Сильвио к караульному пикету сбиров, охраняющих вход в тюрьмы – и это было не трудно ему, сержанту драгунского поста, наблюдающего за всем дворцом.

Сильвио, взгляды в однообразное хождение взад и вперед наружного часового, выждал момент его поворота спиной, и – с ловкостью и прытью дикой кошки – выхватил у него ружье, своим ударом колена на мостовую и зажал рот. Подоспевшие товарищи – прежде, чем звук падения тела мог долететь до пикета, связали его – с любезностью, но без церемоний, и пока недоумевавшие сбирь протирали глаза, перевязали и остальных.

Едва овладели пикетом, Аттилио и Муцио привели тюремного ключаря, который по неволе должен был им повиноваться.

Двери тюрьмы растворились, и они вошли, наблюдая за тюремщиком в оба и готовые дать почувствовать ему свое присутствие, в случае, если бы он вознамерился крикнуть или бежать.

Вошли на дворик; на зов ключаря явился внутренний сторож, который помещался в единственной незанятой темнице – все другие были приперты засовами и замками.

Аттилио крикнул:

– Арестант Манлио, где он?

Тюремщик почувствовал на своем плече тяжесть левой руки нашего Антиноя, и угадал конвульсивное движение правой, схватившейся за что-то. Нам приходится сказать, что Аттилио, в эту минуту, инстинктивно думал об убийстве...

Но кровь не была пролита. Панкальдо, обыкновенно столь злобный и мстительный с бедными заключенными, оказался в эту ночь сговорчивости примерной. При скудном мерцании стеной лампы, он бросал испуганные взгляды то на нищего, то на Аттилио, и если первый

казался ему страшным, то другой наводил чуть не ужас. Он корчил гримасы, желая изобразить на своем лице улыбку, чем отвечал на приказания юноши, и повиновался, не заставляя повторять их себе дважды.

– Манлио здесь, проговорил, наконец, тюремщик, и принялся искать ключ от коморки скульптора.

– Отворяй же! закричал на его Аттилио, и этим вместо того, чтоб ускорить отыскание ключа, аргуса охватил трепет, и дрожавшие его руки не попадали на связку. Наконец, один из ключей пришелся к замку, и глухо повернулся; дверь темницы подалась...

Предоставляю судить радость бедного Манлио, почувствовавшего себя неожиданно в объятиях молодого своего друга, когда он узнал от него, как произошло освобождение! Но Аттилио стал торопить.

– Мы, Муцио, понесем ключаря с собою, – по крайней-мере, до известного расстояния; а этого внутреннего стража запрем на место Манлио.

Так и было сделано. Потом, сойдя с квиринала, шествие разделилось: одна партия заставляла понудительно фланировать Панкальдо, отпущенного на свободу по истечении часа, когда уже было поздно сзывать полицию; другая, сокращенная до трех: Манлио, Аттилио и Сильвио, проведенная сим последним через porta Salara, бросилась в римскую Кампанию.

Х. Сирота

Когда Сильвио, со слезами в душе, вел бедную Камиллу из Колизея в дом Марчелло, он во всю дорогу не мог проговорить ни одного слова.

Сильвио имел добрейшее сердце; он знал, что общество, снисходительное ко всем родам разврата, под одним лишь условием соблюдения наружных приличий, неумолимо в падению девушки, хотя бы пала она жертвой западни, либо насилия. Он знал, что, благодаря этому предразсудку, порочность разгуливает с поднятою головой, а неопытность, предательски обманутая, презирается, – и в глубине сердца порицал эту вопиющую несправедливость.

Он, так много любивший свою Камиллу, он, нашедший ее такую несчастливою – мог ли он не сжалиться над её судьбою?

Он вел ее под руку, и она едва осмеливалась время от времени поднимать застенчиво-покорные взоры на своего провожатого. Таким образом шли они к отцовскому дому, в котором Сильвио не бывал со времени исчезновения Камиллы, – шли молчаливые.

Какое-то мучительное предчувствие наполняло душу обоих, но ночная темнота скрывала на их лицах выражение тоски, отчаяния, печали, которые чередовались у нас в мысли.

К дому Марчелло вела тропинка, уходившая шагов на пятьсот в сторону от большой дороги. Едва свернули они на нее, лай собаки вдруг пробудил Камиллу от летаргии, и словно снова обратил ее к жизни.

– Это Фидо! Фидо! воскликнула-было она с веселостию, которой не знала уже столько месяцев, но в тот же миг, как луч памяти озарил её рассудок, ей вспомнилось и её унижение: она оторвалась от руки Сильвио, вперилась в него глазами, и замерла, удивленная и неподвижная, словно статуя.

Сильвио, понявший все, – как будто он читал в её душе, и опасавшийся усиления помешательства, заботливо приблизился к ней.

– Пойдем, Камилла, сказал он: – это ваш Фидо тебя слышал, и, вероятно, узнал...

Он не окончил еще последних слов, как показался косматый пес, двигавшийся сначала нерешительно, но потом со всех ног кинувшийся к своей хозяйке. Он стал прыгать, визжать и лаять и вообще выказывать такие знаки привязанности к своей госпоже, что мог бы хоть кого тронуть.

Камилла автоматически наклонилась погладить животное, и вдруг залилась обильными слезами. Усталость и страдания сломили это нежное и несчастливое создание. Опустясь на землю, она, казалось, была не в состоянии подняться; Сильвио прикрыл ее своим плащом от предутреннего холода, а сам, между тем, пошел на разведку.

Лай Фидо должен был разбудить всех в доме, и точно, едва подошел к нему Сильвио, на пороге появился мальчик, лет около 12-ти. Сильвио его окликнул.

– Марчеллино!

Мальчик сначала подозрительно взглянул на такого раннего посетителя, но тотчас же узнав знакомый голос, выбежал на встречу Сильвио, и прыгнул ему на шею.

– Где твой отец? спросил охотник, ласково поздоровавшись с мальчиком.

Тот молчал.

– Где Марчелло? повторил он.

Ребенок горько заплакал и прошептал:

– Умер!

Сильвио присел на ступеньку порога; он не проговорил ни слова, но чувствовал, что и его, как Камиллу, задушат слезы...

«Боже праведный», подумал он: «и ты допускаешь, чтобы, для удовлетворения причудам сластолюбца, столько честных людей гибло и умирало!»...

Он провел рукой по лицу.

«...Если бы час мщения не был близок, если бы я не надеялся скоро увидеть свой нож купающимся в крови чудовищ, – кажется, сейчас же всадил бы его себе в грудь, чтоб не видать больше ни одного дня унижения и бедствий бедного моего отечества!»...

Между тем, Камилла, под освежающим веянием молодого утра, изнеможенная напряжением ума и тела, от изумления и бесчувственности, перешла к сну, успокоительному и подкрепляющему. Когда Сильвио и Марчеллино, подойдя, увидели, что она спала, первый прошептал:

– Не станем ее будить на новое горе! Будет ей еще довольно времени вдоволь наплакаться и настрадаться.

XI. Убежище

Аттилио, Сильвио и Манлио, тотчас же по освобождении последнего, бросилась в Кампанью, направляясь прямо к жилищу старого Марчелло, занятому теперь Камиллой с молодым Марчеллино. Они шли молчаливо, каждый под тяжестью своего раздумья. Манлио радовался свободе – свободе как бы то ни было, ибо самая смерть предпочтительнее мучительного заключения в папских тюрьмах, по подозрению в политическом проступке, и летел мыслью к своей Сильвии и к своей Клелии, составлявшим весь смысл его существования.

Сильвио, предложивший скрыть беглеца куда в доме Марчелло, подумывал о необходимости приискать для Манлио приют более надежный и более скрытый, хотя бы в понтийских топях, в это время не опасных.

Аттилио припоминал сам с собою все обстоятельства, связанные с арестом Манлио, посещение Джигани его студии, сцену в палатце дон-Прокопио, слова Дентато о предложении к аресту Манлио, придуманном прелатом и, сближая факты и взвешивая обстоятельства, пришел невольно в заключение, что Клелии неизбежно должны угрожать какие-то козни.

После долгих колебаний, Аттилио решился открыть свои опасения Манлио, и рассказал ему все подробно. Манлио, при первых же намёках, вскричал:

– Ма, per Dio! не хочу я отдаляться от моего семейства... Куда мы идем? Ну, что если их там, одних, обидит эта сволочь!?!...

Аттилио его успокаивал.

– Как только доберемся до места, я сам наведаюсь к вашим и расскажу им все, как думаю... Смею вас уверить, что прежде, чем кто-нибудь осмелится их обидеть, я подниму на них весь Рим.

Аттилио, несмотря на свою молодость, пользовался сочувствием и уважением всех; даже пожилые люди всегда согласовались с его советами: оттого-то Манлио, любивший его, как сына, сдался без оговорок на его мнение.

Заря начинала уже рассвечать небо, когда дошли до тропинки, ведущей к дому Марчелло. Фидо попробовал было сердито залаять, но, увидя Сильвио, угомонился; на лай его выбежал Марчеллино.

– Где Камилла? обратился к нему Сильвио.

– Пойдемте за мной и я укажу ее вам, отвечал мальчик.

И он направился к пригорку, куда последовали за ним и все другие. Марчеллино указал оттуда на неотдаленную часовенку, прислоненную в ограде кладбища, и проговорил:

– Там, на заре и при закате, вы всегда найдете Камиллу, она и теперь там...

Сильвио, не сказав ни слова своим спутникам, направился в указанному месту, где Камилла, одетая в траурное платье, стояла коленапреклоненная перед скромною насыпью свежей могилы, и была так погружена в свою молитву, что не расслышала приближения посторонних.

Сильвио смотрел на нее благоговейно, и не посмел мешать ей, пока она не кончила своей молитвы, и не проговорила: «Прости, прости, отец, если я, я одна, причиной твоей смерти!» И она поднялась, оглянулась, и, заметив Сильвио и его спутников, не выказала ни смущения, ни досады, но улыбнулась кроткою улыбкой, и направилась к дому.

Помешательство Камиллы было тихое. С того дня, как Сильвио отвел ее под отцовский кров, оно перешло в тихую меланхолию, так что она по-видимому казалась совершенно здоровою; но изменилась только форма недуга, рассудок не возвращался.

«– Если тебя станут спрашивать, кто этот синьор, что поселился с вами? – говори всем, что это антикварий, изучающий руины римской Кампаньи».

Таково было истолкование, которое Сильвио счел за нужное дать Марчеллино, на случай, если б Манлио пришлось остаться у них на несколько дней.

Аттилио, после краткого совещания с Манлио и Сильвио, касательно плана дальнейшего их бегства, отправился в Рам, куда влекли его сердце и обещание, данное им Манлио.

ХII. Прощение

Два дня прошло со времени ареста Манлио, и о нем еще не было известий. Обе женщины были в отчаянии.

– И что сделалось с твоим бедным отцом? всхлипывала Сильвия: – никогда он не мешался в политические дела, – что он всегда был либерал, это правда; что он всегда и по заслугам ненавидел патеров, это тоже правда, но ведь он никогда и не перед кем, кроме своих, не высказывал об этом своих мнений. Как же могла это пронюхать полиция?

Клелия не плакала – и её печаль по отце, более сосредоточенная, была, впрочем, от этого не легче. Однако, она находила в себе еще силу утешать мать.

– Не плачьте, мамма, ласкалась она: – слезы ничему не помогут. Надо узнать, куда они свели отца – и, как советует монна¹⁶ Аврелия, попробовать похлопотать у кого следует. Потом и Аттилио его разыскивает, и, конечно, не отстанет, пока не разведает всего, что с ним случилось.

Обе женщины в сотый раз говорили об этом между собой, когда молоток у двери возвестил о приходе посетителей. Клелия пошла отворить, и впустила монну Аврелию, добрую соседку и старую знакомку семейства.

– День добрый, монна Сильвия.

– И вам того же, ответила опечаленная женщина, утирая глаза платочком.

– Вот это, заговорила Аврелия: – наш друг Кассио, которому я говорила о деле, написал для вас просьбу на гербовой бумаге¹⁷, чтобы вручить кардиналу-министру об освобождении Манлио... Он говорит, что нужно, чтобы вы ее подписали – и для пущего спокойствия, снесли бы сами к эминенции.

Сильвии, прикосновенной впервые в подобным делам, не было по душе идти припадать в стопы одного из этих светил, ненавидеть которых ее научили с детства; но что делать? дело шло тут об обожаемом муже – заключенном и может быть уже подвергнутом пытке – и эта мысль пробирала дрожью бедную женщину. Потом Аврелия советовала идти обеим и вызвалась сама проводить их в палаццо Корсини.

– Идем же! решила, наконец, Сильвия, и через полчаса обе они были готовы и шли к жилищу кардинала.

Было девять часов утра, когда его эминенция, кардинал дон-Прокопио, государственный министр, был уведомлен квестором квиринала о побеге Манлио и о роде насилия, которым его выкрали. Гнев прелата был неописанный. Тотчас же вышел приказ арестовать всех лиц, представленных в наблюдению за квириналом и его тюрьмами – и надзиратели, ключари, командиры караулов, драгуны и сбиры, были засажены под арест по приказанию не на шутку рассердившагося министра. Потом, тотчас же вслед за этими распоряжениями, он приказал позвать в себе Джиани.

– E come diavolo, крикнул на него грозный начальник: – не засадили вы этого проклятого скульптора в замок св. Ангела, где он был бы в целости? Зачем отвели его в квиринал, откуда эта караульная сволочь его прозевала – отвечай?

– Эчеленца! залепетал Джиани: – когда дело такой важности, то для чего же эминенция ваша не изволила поручить его мне, а доверилась этой падали – сбирам? что они такое? и чего они стоят эти негодяи? порешил Джиани в благородном намерении возвысить себя самого в ущерб другим: – ведь это людишки, дозволяющие себя застрачивать и задаривать...

– Что ты мне надоедаешь сегодня твоими проповедями, скоморох! заревела эминенция: – словно я нуждаюсь в советах твоих! Твоя обязанность – служить мне безответно. Ищи теперь в

¹⁶ Сокращенное – mia donna (madame).

¹⁷ Carta bullata; bollo – штампель, марка.

твоей морковьей голове, каким способом добыть девушку... Не то, per Dio, подземелье палаццо огласится гнусным твоим фальцетом под петлею веревки или прихватами щипцов...

Джиани хорошо понимал, что это были не напрасные угрозы – и хотя свет думает, что время пыток в наши дни миновало, то он заблуждается. В подземелии святого града пытки еще процветают во всей своей первобытной полноте.

И знал еще Джиани, что подземелья церквей, монастырей, дворцов и катакомбы скрывают столько ужасов, что могут заставить вздрогнуть самых бесстрашных людей.

С опущенною головой, презренный скопец – ибо таковым он был – так-как, подобно туркам, римские патера поручают охрану своих жен кастратам, изуродованным еще в детстве, под предлогом сохранения чистоты их голоса, с опущенной головой и не дыша ждал своего приговора.

– Подними свои плутовские глаза, закричал на него кардинал: – и гляди на меня прямо!

Джиани, трепеща, устремил свои глаза на лицо патрона.

– Неужели же ты все еще не можешь, грабитель, и после того, как повытаскал от меня, то под тем, то под другим предлогом столько денег, доставить мне Клелию?

– *Si Signore*, ответил Джиани на удалую, так-как ему хотелось только как-нибудь поскорее ускользнуть с глаз кардинала, а там будь, что будет.

В эту минуту, к великому удовольствию Джиани, звонок возвестил посетителей, и лакей в богатой ливрее доложил:

– Эминенца! три женщины, с прошением, просят позволения представиться эминенции вашей!

– Пусть войдут, ответил дон-Прокопио, но Джиани не сказал ни слова.

ХIII. Прекрасная чужестранка

Известно, что Рим – классическая страна искусств. Там, как бы естественная выставка древних руин – храмов, колонн, мавзолеев, статуй, остатков греческого и римского творчества великих произведений Праксителей, Фидиев, Рафаэлей и Микель-Анджело; там на каждом шагу восстают, порываясь в небо, остовы исчезнувшего величия, запыленные двадцатью протекшими над ними веками, испещренные победными надписями народа-гиганта, которым до сих пор дивятся путешественники, изучают, списывают и везут к себе, в свои страны, бледные копии этого минувшего величия.

Патеры посягали-было испортить эти двадцати-вековые свидетельства величия древности, внося в стены храмов современные украшения дурного вкуса, но, прекрасное, великое, чудесное появляется еще чудеснее от близости такого соседства.

Джулия, прекрасная дочь гордой Англии, жила в Риме уже несколько лет. Дитя свободного народа, она презирала все, что принадлежало к породе папистов. Но Рим! Рим гениев и легенд, отечество Фабиев и Цинциннатов, ярмарка очарований, – этот Рим был для Джулии волшебством. Она видела все, что было замечательного в Риме; она посвящала, все дни, все часы свои на изучение этих чудес. Она умела ценить творения искусств, и ежедневное её занятие состояло в копировании их.

Между великими мастерами она выбрала себе предметом изучения Буонаротти и всю его школу, представляющую столько разнообразия и пищи для воображения.

Перед дивной колоссальной фигурой Моисея¹⁸ она проводила целые часы в созерцании: отпечаток величия на этом челе и величественность позы казались ей неподражаемыми, не имеющими себе ничего подобного в искусстве.

Она жила в Риме потому, что в Риме нашла пищу своей художественной натуре, своей снедающей любви в прекрасном, и в Риме она решила жить и умереть потому, что не в состоянии была оторваться даже на один день от восторженного созерцания предметов своего поклонения.

Молодая, богатая, рожденная и воспитанная в дальней и строгой Англии, как могла Джулия расстаться навсегда и навсегда покинуть подруг и родных, которая ее любили? Как?! она нашла свой мир между остовами развалин, и под изношенным плащом нашего нищего экзальтированное воображение её отгадало тип благородной расы древних квиритов.

В студии Манлио, куда она заходила нередко, она встретила Муцио, который исполнял иногда у художника обязанности натурщика.

Что было за дело Джулии до его низкого положения? Разве не было на этом челе того же отпечатка и в этой поступи того же величия, что поражали ее в мраморных статуях?

Несмотря на нищету Муцио, Джулия влюбилась в него с первого раза, как его увидела. Бедность в её глазах нисколько ему не вредила, нисколько не унижала его. Бедность портит только людей слабых, а Муцио таковым не был. Да и что в богатстве? Разве оно увеличивает достоинства человека?

А Муцио, любил ли Джулию? Да, он отдал бы за нее вселенную, хотя и не решился бы никогда открыть ей любовь свою...

Раз, вечером, на Лунгаре, два пьяные солдата пристали-было к нашей героине, когда она одна, без провожатого, возвращалась из студии Манлио, и силой хотели повести с собой. То было лучшим моментом в жизни Муцио, следившим за нею издали: он ранил и повалил одного (другой пустился в бегство), и с этого вечера никто уже не смел оскорблять Джулию на улице.

¹⁸ «Моисей» Микель-Анджело Буонаротти, в церкви св. Петра – in Vincoli. *Прим. авт.*

В тот самый день, когда женщины Манлио положили отправиться в палаццо Корсини, Джулия всходила на Яникульский холм, чтоб посетить по обычаю его студию. От молодого ученика узнала она печальную историю с художником, узнала о попытке женщин, но не могла узнать, какая именно причина была всему этому. Пока стояла она встревоженная и задумчивая, пришел Аттилио, и от него-то услышала она подробности всего дела.

– Надобно же, наконец, узнать, что все это значит, сказала молодая иностранка: – должно думать, что женщины пошли хлопотать о помиловании, но и нам не следует терять ни минуты; я имею доступ в палаццо Корсини; вероятно, мне скорее, чем кому-либо другому удастся все разузнать и я надеюсь еще до вечера уведомить вас обо всем...

При этих словах, не объясняя ничего более, она удалилась.

Аттилио, усталый от ночной тревоги и ходьбы, опечаленный отсутствием Клелии, остался в студии, чтоб еще раз поразспросить молодого Спартако о вещах, так его интересовавших.

XIV. Сиккио

Возвратимся снова в 1849 г. и той роковой сцене, когда двухлетний Муцио был обворован в пользу братства «Сан-Винченцы и Паоло». Вспомним, что один из служителей дома – Сиккио – встретил этого пройдоху дон-Игнацио таким приемом, что мы тогда же сочли нужным о том упомянуть.

Сиккио был давнишний слуга дома Помпео; в нем он родился, в нем был обласкан, в нем и привязался в сиротке Муцио, с отеческою нежностью.

Добрый человек, но не слишком сметливый, он разгадал, однако, пронырства «паолотта» и его сообщницы; но, кто бы осмелился в Риме изобличить исцелителя душ, духовного пастыря и исповедника знатной барыни?

Для патеров исповедь – дело слишком выгодное, чтобы они не позаботились обставить ее подобающе таинственностью.

Исповедь, – это могущественное орудие католицизма – это главный элемент его соблазнов, ключ к сокровеннейшим помыслам, к шпионству, к богатству, к влиянию на слабый ум, к разврату!

Старый Сиккио, за преданность свою ребенку и дому, был прогнан первым, когда агент паолоттов налетел на свою добычу.

– А младенец? спросила-было Флавия дон-Игнация.

– Младенец! воскликнул тот: – у нас для него не сиротский дом! Его можно отправить туда, пусть он там подрастает, охраняемый от заблуждений развращенного века и влияний еретических доктрин, преобладающих в обществе... Там он будет всегда под нашим наблюдением.

И они вторично обменялись таким взглядом, что обдало бы холодом самую смерть.

К счастью еще для Муцио, богатство добычи ослепило пройдох на столько, что после разговора патера со старухой, о нем совсем позабыли и, покинутый всеми, он хныкал в колыбели.

Сиккио, один честный Сиккио, не забыл его: воспользовавшись смятением грабителей, растаскивавших имущество, под предлогом забранья своего скарба, он пробрался в дом, унес с собою Муцио и поселился с ним в отдаленном уголке Рима.

Нужно сказать, что отец Муцио был страстным археологом, и во время своих изысканий над монументами и руинами, имел привычку брать с собой Сиккио. В этих-то странствованиях по Риму, он напрактиковался, следовательно, достаточно, чтоб избрать ремесло *чичероне*¹⁹ для пропитания, ибо, с обузою ребёнка на руках, ему трудно уже было достать себе лакейское место.

Чичеронизм в Риме не дает больших выгод, но дает относительную независимость жизни, и Сиккио воспользовался кое-каким своим знанием для прокормления себя и своего питомца, к которому привязывался день ото дня горячее. Ребенок же рос и делался красивым отроком, ловким и сильным. Никогда не возвращался домой Сиккио с пустыми руками, не принося своему любимчику чего-нибудь на забаву и, пожалуй, скорее отказал бы себе в необходимом, чем лишил бы своего юного друга какой-нибудь дорогой игрушки или любимого лакомства.

Так длилось впродолжение многих лет, но Сиккио старел, старческая хворость стала мешать ему слишком усердно заниматься обычным ремеслом; а от чичеронства до нищенства – один только шаг.

¹⁹ Чичероне называются в Риме проводники, показывающие достопримечательности, и объясняющие их иностранцам более или менее толково. *Прим. авт.*

Христарадничать было не по душе честному Сиккио, но надо было кормиться и содержать еще ребенка... Достигнув пятнадцатилетнего возраста, Муцио сложился в совершенстве и римские художники, прельщавшиеся его торсом, стали зазывать его в студии.

Это несколько облегчало их, но Муцио, знавший, по рассказам Сиккио, свое происхождение, раздумывавший постоянно о плутовской проделке, повергнувшей его в нищету, мучился мыслью, что он вынужден *позировать* моделью перед людьми, часто ему неизвестными, и избегал этого дела. Притом сопровождая иногда Сиккио в чичеронских его экскурсиях, он перенял от него умение склонить иностранца на осмотр Campo Vaccino или храма св. Петра и предпочитал эту профессию. Не гнушался он также и ручными трудами и часто нанимался в скульпторам передвигать глыбы мрамора. Самые тяжелые глыбы, сдвигать которые бывало едва под силу трем, по крайней мере, человекам – Муцио, 18-ти лет, ворочал почти шутя.

При всем том никто и никогда еще не видал его протягивающим руку – почему другие нищие и величали его саркастически «*Signor mendico*».

Однажды, закрытая вуалью женщина вошла в каморку Сиккио и положила на стол кошелек, полный золотом, сказав старику повелительным голосом:

– Эти деньги помогут вам обоим облегчить свое положение. Вы меня не знаете; но если б вам и удалось узнать, кто я, не говорите Муцио, от кого явилась эта помощь...

И не дожидаясь ответа, скрылась.

XV. Палаццо Корсини

«Рыбка сама наклеывается», подумал развращенный прелат, потирая руки при виде трех вошедших к нему женщин. «Провидение (вот какой смысл придают подобные люди идее провидения) на этот раз», продолжал он рассуждать сам с собою: «служит мне лучше всех негодных моих наемщиков».

Думая так, он бросал время от времени плотоядные взгляды на прекрасную девушку, погубить которую составляло его страстное желание.

– Где ваша просьба? спросил он сухо просительницей, с таким видом, как будто ему только из этой просьбы придется узнать, с кем он имеет дело и по какому поводу, хотя он узнал своих посетительниц при самом их входе.

– Что же, подадите ли вы мне наконец вашу просьбу? повторил он снова, заметив что после его первого вопроса женщины молчали, как убитые. Тогда Аврелия выдвинулась вперед и подала ему бумагу.

Кардинал со всеми внешними признаками озабоченности, углубился в чтение просьбы, потом, оставив ее, обратился к Аврелии. «Это вы сами и есть?» сказал он, показывая вид, что других женщин он даже не замечает. «Вы жена этого смельчака Манлио, который позволяет себе скрывать в своем доме государственных преступников и врагов его святейшества?» Слова эти произнес он тем строгим и торжественным тоном, каким обыкновенно говорятся увещания неисправимым преступникам.

– Жена Манлио, не эта синьора, поспешила сказать Сильвия: – а я; особа эта пришла со мною только для того, чтобы засвидетельствовать перед вашею эминенциею, что она с детства знает всю нашу семью и может подтвердить клятвою, что никто из нас никогда не вмешивался в политические дела. Донна Аврелия подтвердит вам, продолжала горячо Сильвия: – что Манлио – человек безукоризненно-честный.

– Безукоризненно-честный, подхватил кардинал, притворяясь раздраженным. – Но если он так безукоризненно честен, то что заставило его прятать у себя еретика и государственного преступника? И как же это ваш безукоризненно-честный муж решился на бегство из тюрьмы, воспользовавшись для этого конечно средствами преступными, а не безукоризненными?

За этими словами последовало непродолжительное молчание, во время которого в голове Клелии, сохранившей наибольшее хладнокровие и присутствие духа, быстро пробегала мысль: «Бегство! значит, он уже не у них в когтях более?» Мысль эта так ее обрадовала, что все лицо её озарилось мгновенно радостью и она инстинктивно прошептала вслух: бегство!

– Да, он бежал, проговорил с расстановкою прелат, отгадывая чувства, родившиеся в душе Клелии: – но радоваться вам тут еще нечему. Далеко он не убежит. Избежать законной кары – не так-то легко удастся. Манлио – безумец. Вместо того, чтобы отвечать только за пристанодержательство, он окончательно погибнет от совокупности преступлений за свою дерзкую попытку насильственно вырваться из государственной тюрьмы.

Эти резкие и страшные слова подействовали на бедную Сильвию, как удар грома. Услышав их, она смертельно побледнела, зашаталась и, протянув руки к своей ненаглядной Клелии, упала без чувств в её объятия.

Эта неожиданная сцена несколько не встревожила Прокопию; мало того, он решил мысленно извлечь из неё себе пользу. Для этого он позвонил, и когда на зов его пришли люди, приказал им отвести женщин в другую комнату, и стараться всеми мерами привести скорее в чувство женщину, находившуюся в обмороке.

«Ви не выйдете из моего дворца, не заплатив мне за мое беспокойство тем, чего я так долго добиваюсь», подумал он, оставшись один и, потирая от удовольствия руки, потребовал

к себе немедленно Джиани. Джиани тотчас же явился, так-как он находился в одной из комнат палатцо, зная, что его услуги могут во всякое время понадобиться кардиналу.

– Подходите-ка поближе, сеньор, весело сказал Прокопио, и Джиани уже по этому приступу (сеньором кардинал называл его только в исключительных случаях), догадался, что ему предстоит интимное поручение.

– Провидение нам услужило сегодня лучше, чем это сумели бы сделать вы, со всею вашею опытностью и расторопностью... продолжал с улыбкою кардинал.

– Кто же смеет сомневаться, что ваша эминенция рождена под счастливой звездой и должна во всем иметь успех, замолвил Джиани, кланяясь и сгибаясь, как угорь.

– Н-да! Теперь, следовательно, когда провидение (слово провидение не сходило с нечистых уст прелата) устроило главную часть дела, – на твоей обязанности выполнить другую. Прежде всего распорядись, чтобы с женщинами обращались как можно лучше. Потом – их надо отвести в задняя комнаты, знаешь? Оттуда, под предлогом вызова их к объяснению с монсиньором Игнацио (читатель знает уже эту почтенную личность), их надо развести по разным комнатам. Когда же они успокоятся от всяких подозрений, мне нужно будет видеться наедине с Клелиею... Понял ли?..

– Все будет исполнено, как желает ваша эминенция, поклонился Джиани.

Кардинал, зажмурясь, провел рукою по своему подбородку, и дал знак Джиани, чтобы он оставил его одного. Джиани безмолвно и с почтительным поклоном ретировался. Развратный кардинал проводил его полустрогой, полуснисходительной улыбкой, но едва он остался один, как вошедший человек доложил ему, что его желает видеть какая-то синьора англичанка.

– Проси же, проси ее, быстро проговорил Прокопио: – просто манна сегодня падает на меня с неба, подумал он, и снова провел себе сладострастно рукою по подбородку. Лицо его, покрытое темными пятнами – следами разврата, между которыми проглядывала желто-зеленая кожа, как у хамелеона – приняло самодовольное выражение.

– Добро пожаловать! радушно воскликнул он, когда на пороге двери показалась высокая и красивая женщина-артистка. Он сделал несколько шагов, вперед, и предложив ей руку, подвел ее в креслам.

– Чему я обязан счастьем, забормотал он: – видеть под своею кровлею снова вас, в той самой комнате, которую вы некогда уже удостоивали своим посещением? Ах! с тех пор, как вы уже ее более не украшали собой, я на нее стал смотреть, как на печальную пустыню...

«Как извивается эта змея», думала про себя Джулия (это была она), пока прелат витийствовал и сев в кресла, сказала: – ваша эминенция по-прежнему любезны, за что я вам немало благодарна. Я бывала тогда часто, как вы знаете, потому, что снимала копии с ваших превосходных картин. После же того, как все копии были сняты, я не видела оснований снова сюда являться.

– Оснований! оснований! Как холодно вы выражаетесь, заставляя меня скорбеть от такой холодности. – Право, синьора Джулия, я бы имел право обидеться тем, что вы находите, что нет никакого основания посещать людей, искренно нам преданных. Вы, с вашей красотой, кроме того, имеете полнейшее основание появляться всюду. Вас везде ожидает почет и поклонение.

Произнося эти и подобные медовые фразы, дон-Прокопио в то же время, как бы нечаянно, подвигал свои кресла к креслам гостыи, чтобы в ней как можно приблизиться. Маневр его, впрочем, не удавался, так-как при каждом движении его кресла, гостыя отодвигала свое на такое же расстояние, так что два эти кресла напоминали собою две волны, постоянно стремящиеся в одну сторону и никогда несливающиеся.

Наскучив неудачным двиганьем стульев, прелат очевидно что-то придумал новое и с решительным видом встал и подошел к Джулии.

– Да сидите же, бога ради, спокойно, строго перебила она его: – или я сейчас же уйду. И она тоже поднялась, поставив между собою и прелатом, в виде защиты, кресло...

Кардиналу эта поза очевидно не особенно понравилась, он с досадою опустил снова в кресла; Джулия тоже села и сухо сказала:

– Я посетила вас по важному делу, знайте это, так-как я уже сообщила вам, что не считаю для себя удобным какие бы то ни было посещения вашего палаццо без особенно важных оснований для этого. Я пришла к вам, получить от вас сведения об одном семействе, которое меня интересует, о семействе скульптора Манлио, которое проходило к вам.

– Приходило-то оно, точно приходило, проговорил неохотно Прокопио: – но теперь оно уже ушло.

– И давно уже ушло оно? спросила Джулия голосом, в котором сквозило недоверие.

– Нет, нет, недавно... только что... минут пять...

– Значит, теперь они уже не в палаццо? переспросила гостя.

– Конечно, уже не в палаццо, твердо солгал прелат.

Джулия недоверчиво покачала головою, медленно поднялась с места и, едва удостоив поклоном негодяя-кардинала, удалилась из залы.

* * *

Британская раса, подобно всякой другой, имеет свои недостатки. Совершенного народа на земле, как известно, нет, но я очень высоко ценю англичан. По моему мнению, в наше время только между англичанами можно встретить таких личностей, которых можно смело сравнить по доблестям с типами наших предков, *отцов* первобытного Рима.

Как нация – Англия эгоистична и властолюбива; история её представляет не мало преступлений, задуманных и приведенных в исполнение во имя этих пороков – в среде своего народа и среди народов чуждых.

Для того, чтоб удовлетворить своей ненасытной жажде золота и владычества, Англия загубила и замучила в своих железных тисках не мало чуждых национальностей, но едва ли кто-нибудь решится отрицать, чтобы в общем ходе человеческого прогресса – значение её не было громадно. Англия посеяла семена того сознания личного человеческого достоинства, во имя которого каждый уважающий себя человек является сильным, гордым и непреклонным, лицом к лицу с самыми прихотливыми требованиями тех, кто, по собственному признанию, сотворен для опеки над миром себе подобных... Благодаря своему постоянству и отваге, англичане сумели соединить у себя правительственный порядок с полною свободою личности и самоуправлением. Остров их сделался святилищем и неприкосновенным приютом для всякого есчасстья. Деспот на нем, рядом с последним из своих подданных, политическим изгнанником, в равной мере пользуется гостеприимством, ради одного того, что они оба – люди.

В Англии впервые раздалось слово – об освобождении черных, которое после гигантской борьбы восторжествовало недавно и по ту сторону океана – между соплеменниками англичан, на новом материке. Даже начавшееся возрождение Италии могло удасться отчасти только благодаря Англии, так-как в 1860 году, в мессинском проливе – Англия первая произнесла мужественное слово невмешательства.

Но Италия, так же как и Англии, много обязана и Франции. Человечество всегда будет помнить, что во Франции, прежде чем везде, распространилось господство философских принципов. Мир никогда не забудет также первого торжественного провозглашения прав человека. Уничтожением варварского рабства на Средиземном море, мы тоже обязаны Франции. Страна эта долгое время умела стоять во главе европейской цивилизации, – но теперь, увы! она это свое величие утратила! Ныне, ползая перед истуканом призрачного величия, она разрушает то самое великое дело, созидать которое – было важнейшею задачею её прошлого.

Некогда Франция гордо провозглашала и стремилась водворить повсюду свободу мира; теперь она же сама стремится ее повсюду истреблять и уничтожать.

Она отрицается и отчуровывается ныне от Разума, – олицетворенного ею некогда в образе божества. Теперь она – не признание разума, и её солдаты, дети её земли, становятся добровольно жандармами главного жреца мрака и невежества.

Будем же хоть надеяться, что настоящее Франции – изменится. Будем утешаться тем, что мы снова увидим Францию в прежнем блеске, когда две великия нации – встанут дружно и вместе во главе и на стороже мирового прогресса.

XVI. Совет

В тот же самый вечер, в маленькой комнатке Сиккио находились три лица, которые своею красотою могли бы привести в восторг и удивление любого из великих художников, даже из тех, которые умели своими произведениями «сводить на землю Олимп».

Что такое красота? От чего зависит её чарующее влияние за всех и каждого? Отчего отличенные ею пользуются особенным почитанием от окружающих? Разве внешняя красота всегда служит ручательством внутренних достоинств? Разве встречается мало людей, которые при некрасивой внешности обладают золотым сердцем? Отчего же это предпочтение красоте? Что делать! Человек как бы инстинктивно привлекается и подкупается красотой, и женщины в этом отношении еще чувствительнее мужчин.

Красивая внешность невольно возбуждает доверие к человеку. Приятно, когда старик отец красив, когда красивы мать и дети, приятно и для самого себя обладать чертами лица, которые представляют большее сходство с Ахилом, нежели с Ферситом.

Красивый военачальник легче другого возбуждает энтузиазм в своих подчиненных, страх во врагах своих. Одним словом, родиться красивым – великое благо, хотя и в этом случае, как и во множестве других, наблюдателя поражает неравномерное распределение этого дара между людьми. Трудно понять, почему всемогущая природа и вследствие какого своего закона или пожалуй каприза – одних наделяет и в этом смысле чересчур щедро, других же совершенно обделяет.

Сколько ненужных страданий выносит обыкновенно человек, если он безобразен. Сколько невольных оскорблений, сколько тяжелых обид – инстинктивно наносят ему ближние. Урод не может рассчитывать на любовь женщины. Он возбуждает в ней сострадание, а не восторг. Если она хороша, он никогда не возбудит к себе даже и такого чувства. Если женщина дурна, она также не будет любить его, так-как безобразные женщины или бывают совершенно лишены инстинкта сострадания, или своим сочувствием к уроду побоятся выказать как бы признание своего собственного уродства, побоятся быть заподозренными в том, что своим участием они вымаливают подобное же чувство в себе. Встречая к себе сочувствие, урод всегда должен опасаться, не притворное ли оно? не скрывается ли под ним только стремление как можно скорее – таким подаванием от него отделаться, или, что еще хуже, не прикрывает ли подобное сочувствие, как маска, только обидной для него насмешки, только желания над ним посмеяться.

Известно, что одно лишь золото в состоянии несколько скрасить безобразие тела.

Между тем красота позволяет человеку, даже без всякой с его сторона личной заслуги, чваниться и властвовать над толпою.

Что это? расчет ли природа или каприз? Случайность – или необходимость?

Когда Джулия вошла, Аттилио и Муцио закидали ее вопросами о семействе Манлио.

– Да, ответила она: – я уверена, что они в палаццо Корсини, хотя бесчестный Прокопио и отпирается. Вы понимаете, что ему отпираться не трудно, он может купить все за свое золото, что ни задумай он сделать. Его порочные клеветы помогут ему при всяком преступлении спрятать концы в воду.

Аттилио при этих словах судорожно поднялся, как ба собираясь уходить. Он приложил руку ко лбу, как ба что-то обдумывая; потом, устыдясь, вероятно, своей мысли, в изнеможении снова опустился на стул.

Джулия, отгадавшая по его движению, какой вулкан ныл в его груди, обратилась к нему.

– Аттилио! вам больше всякого другого следует сдерживаться и быть хладнокровным, если за хотите действительно высвободить свою невесту из недостойных сетей; теперь еще

рано – и делать нечего, надо ждать. Раньше десяти часов вам нельзя и начинать вашей попытки, если вы только хотите успеха.

– Без сомнения! подтвердил Муцио: – да и мне надобно еще прежде сходить, предупредить Сильвио, чтобы он со своими товарищами явился в соседство палаццо. Пожалуйста, друг, уж не трогайся с места до моего возвращения.

Мы знаем, как сильно любил Муцио – Джулию. К чести его надобно сказать, что оставляя ее с глазу на глаз с Аттилио, красивейшим римским юношей, он не чувствовал никакой ревности. Он знал, что любовь к нему Джулии бала любовь сильная, не изменяющая, не умирающая, не проходящая с годами или с переменой судьбы. Он знал, что его несчастья делают его еще дороже для его возлюбленной.

XVII. Правосудие

Правосудие – великое слово, но как оно поругано, как осмеяно на земле сильными мира! Христос был распят на кресте во имя человеческого правосудия. Галилея в видах правосудия подвергали пытке. А те порядки и законы, которыми управляют еще столько стран! – современного Вавилона – цивилизованной Европы, разве они не составляют олицетворения правосудия?

Европа! Страна, где работающий голоден и рискует погибнуть голодной смертью, где тунеядцы благоденствуют, утопая в пороках и роскоши, где только немногие семьи участвуют в управлении нациями, где поддерживаются постоянные войны и раздоры под прикрытием беспрестанно произносимых громких слов: патриотизм, законность, честь знамени, военная слава, где половина населения составляет рабов, а другая половина исправляет правосудие, наказывая и истязая рабов, если они осмеливаются заявлять свое недовольство жалобами!..

Однообразный ход законного правосудия нарушает только изредка какой-нибудь частный случай, когда кинжал или карабин самовольно берут на себя роль капризных исполнителей правосудия. И тогда повсюду поднимается шум и гвалт, какому-нибудь Орсини тотчас же отрубает голову, а Наполеон III, за то, конечно, что он во всю свою жизнь не пролил ни капли человеческой крови (ни в Париже, ни в Риме, ни в Мексике!), повсюду превозносится и прославляется за свое великодушие.

Но... пробьет и для Франции час настоящего правосудия. Тогда встрепенутся все те шакалы, которые живут достоянием бедняков, и те, которые способствуют разращению нации из двадцати-пяти миллионов людей.

Прокопио и Игнацио, преступные действия которых нам уже известны, также были близки от исполнения над ними правосудия. В то время, когда они приготовлялись к новому преступлению, в палаццо Корсини, подле этого дворца уже имелись наготове Аттилио, Муцио, Сильвио и человек двадцать их товарищей из трехсот, чтобы сделаться исполнителями правосудия, хотя и разбойническим способом.

Это гордые сыны Рима понимали и чувствовали, что для раба не существует нигде опасности, что всякое предприятие для него удобоисполнимо, так-как все, что он может при этом потерять – только жизнь; на жизнь же смотрит он, как на предмет, не имеющий никакой цены. Такою сделали ему жизнь тираны!

Поэтому три наши героя совершенно спокойны, как бы в ожидании праздника. Дыхание их ровно; если сердце их и бьется ускоренно, то только от надежды, что скоро должна наступить минута отмщенья. В ожидании, когда пробьет десять часов, они прохаживаются по Лонгаре, но прохаживаются не вместе, а в разброд, так-как папским правительством строго запрещены на улицах всякия сборища.

За то они соединятся... за делом.

В палаццо все устроилось по мысли Прокопио. Под предлогом допроса – три женщины разлучены. Клелия – одна. Клелия беспокойна... она предчувствует что-то недоброе... и вот она вынимает из своей косы небольшой кинжал, какой обыкновенно носят при себе римлянки, осматривает его, пробует его острие и как верного друга прячет к себе на грудь под складки своего платья.

После девяти часов, прелат надевает свои лучшие, и, по его мнению, наиболее украшающие его одежды и собирается на «осаду крепости», как он обыкновенно называет свои нечистые и насильственные интриги. Он тихо открывает дверь комнаты, где находится Клелия, и мягким, сладеньким голосом говорит ей: «добрый вечер».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.